В. Вейдле

НА ПАМЯТЬ О СЕБЕ

стихи

ПАРИЖ 1 9 7 9

В. ВЕЙДЛЕ

На память о себе

СТИХОТВОРЕНИЯ 1918-1925 и 1965-1979

> ПАРИЖ 1979

Издательство «Рифма» Париж

Тираж 500 экземпляров из них 50 нумерованных и подписанных автором

World copyright @ by the author

Склад издания: M. René Guerra. 37, rue du Fort 92130 Issy-les-Moulineaux - France

I

на память обо мне в мои седые дни

БЕРЕГ ИСКИИ

Ветерок умиленный и синее, синее море. Выплывают слова, в синеву уплывают слова, Ускользают слова, исчезая в лазурном узоре.

В эту синюю мглу уплывать, улетать, улететь, В этом синем сияньи серебряной струйкой растаять, Бормотать, умолкать, улетать, улететь, умереть, В те слова, в те крыла всей душою бескрылой врастая...

Возвращается ветер на кру̀ги свои, а она В синеокую даль неподвижной стрелою несется, В глубину, в вышину, до бездонного синего дна... Ни к кому, никуда, ни к тебе, ни в себя не вернется.

K ***

Напрасно тень свою ты в зеркале искала; Она была тобой, ты больше не она. С нездешней легкостью легла на одеяло Жемчужных рук твоих сквозная белизна.

Жемчужных рук. Твоих... Ты плачешь, Каллинира? Каллианасса плачь! Нам утешенья нет. К блаженным берегам исчезнувшего мира Нам возвращенья нет. И нам прощенья нет.

Но там, над временем, в кольце возобновлений, Над зеленью лугов и синевой морей, В нетленной юности, где тень навстречу тени Летит, как некогда моя вослед твоей,

Сквозь все отравы, все колючие обиды Летела мучаясь, любуясь и любя, — Там, на гребне волны, где пляшут Нереиды, Нет ни одной, поверь, жемчужнее тебя.

ОТКРЫТКА С АППИЕВОЙ ДОРОГИ

Та, да не та, уже давно, двадцать лет: Вся черная, и на солнце кажется липкой. Бензинный едкий дух. Грузовики грохочат. Помнишь — май, жасмин? Подумай только: Via Appia Antica.

Широких, круглых, Как бы волной омытых, гладких, теплых Булыжников не видно. Уравняли, Втоптали, заклепали, заваксили... Но работали вяло: асфальт, и всё таки пыль. Лучше идти полями. Зелень еще свежа. Горы Голубеют вдали; всё те же. Пятое мая. Цветет жасмин.

Я полежал в траве
И пошел завтракать в тратторѝю Бельведере,
Где всё так же бегают с блюдами
Из кухни в садик через дорогу,
Но поторапливаются: как бы не раздавили.
За соседним столиком, в чалме, индийский, что ли,
Подъячий или дьяк трещит не умолкая,
Со страшной твердостью согласных, по-английски:
Оон. Вашингон. Урон со всех сторон.
План. Переплан. Размен. Товарообмен.
Мистерр Стивенсон из э ввондеррфулл мэн.
С дороги — смрад. Черней других и гуще
Сок дизелей.

К десерту гитарист Полупрофессорского вида, лысый, грузный, Похожий на меня, как я теперь, Поет без голоса A rivederci Roma. Фальшивит. Тренькает.

Слава Богу кончил. Стихло. Роздых. Отгрохотали и пришли поесть.

Можно забыть. Можно помнить. Не надо вспоминать. Сияет день — тот день, этот день. Почти что рядом Кустик, из тех, что в подвенечном платье, Благоухает. Небо, над всеми нами, Безоблачно. Какой вкусный хлеб! Какое светлое, беззлобное вино! Радость. Радость. Радость. Жасмин и бензин. Жасмин — и бензин.

1965

à R.G.

СТИХИ О СТИХАХ

Неназываемое нечто Слиянье правды и мечты, Того, что — тлен, того, что вечно, Того, что — ты и что — не ты

Почудилось, — и вот уж начат Двуличных слов набор, отбор, Тех, что, гляди, да и заплачут Твоим слезам наперекор.

Извилисто, молниеносно, В разбивку, исподволь, навзрыд, И не спроста, и «ах, как просто»: Шажок — стежок — открыт — прикрыт...

Подшито, выверено, спето. Ну что ж, зови. Подай им весть. Пусть верят на слово, что это Как раз то самое и есть. Зачем, рассудок беспокоя, Гадать, что ближе, свет иль тьма, Когда от запаха левкоя Мне так легко сойти с ума?

Для несказанного ответа Предвечной Мудростью рожден, Темнее тьмы, светлее света И тишины беззвучней он.

Скорее сладостен, чем сладок, Свежее свежести самой, Он, по ту сторону загадок, Во мне сливается со мной.

Блаженное благоуханье Сполна единый раз вдохну И задохнусь в моем вдыханье, В его дыханье утону, —

Как будто машут, веют, тают, Там, где душа моя была, Как будто в небо прорастают Ее незримые крыла.

RIVA DEGLI SCHIAVONI

Золотисто здесь стало и розово: Ветерок. Он под осень бывает. Ветерок, ветерок, от которого Сердце ослабевает.

Да и биться зачем ему? Незачем. Заслужило оно благодать Под крыльцом у цырюльника Чезаре Розовым камнем спать.

БАЛЛАДА О ВЕНЕЦИИ

Первый голос

Болтовня, беготня; беготня, болтовня От зари до полуночи, день изо дня.

Скольких ты приютила незванных гостей, Лицемерных, неверных друзей-не-друзей!

Твой убор многоцветный с узорной каймой Поистерт, поизмят их нечистой рукой.

Когда вольной была и привольной слыла, И когда умирала, когда умерла,

Всё то бражничали, пировали они, О красе твоей жребий бросали они,

Продавали ее, подновляли ее, Мишурою своей приправляли ее.

И росла суета; становилась возня Безобразней, назойливей день ото дня...

Второй голос

Не спеши, не суди; потерпи, погоди; Тишину не зови, в темноту не гляди:

Для живых, неживых, грубых, нежных сердец Всё равно тот же самый настанет конец,

Всё равно подойдет тысяча девятьсот Девяносто девятый обещанный год —

Ослепляющий луч, леденящий огонь, А потом непробудная серая сонь.

Только пепел летит, только ветер свистит, Погребальным псалмом над лагуной гудит,

В переулках кривых, на горбатых мостах, Вдоль церквей и палат развевает он прах.

Пощадил их, хоть был и свиреп, и могуч, Черепицы не сдвинул мертвящий тот луч.

Первый голос

Что здесь было весной, погубило весну, Да и лето, и осень склонило ко сну,

Но теперь, в день всех мертвых, ноябрьский день, В королевском саду зацветает сирень,

Обвиваются розы, с утра заалев, Вкруг высоких столбов, где Феодор и лев,

А на площади — тешилась ею молва — Вместо мраморных плит зеленеет трава

И гуляют по ней и летают над ней Сонмы кротких и белых как лен голубей.

Предзакатный сияет над городом свет — Здесь такого не видели тысячу лет —

И мерцают и гаснут в закатных венцах Все хоромы и храмы на всех островах.

Второй голос

Слышу звон колокольный всех звонов звончей, Вижу — в храмах зажглись сотни тысяч свечей.

Разорделся их стен драгоценный убор, Загремел в них воскресших ликующий хор,

Из далеких и ближних восстали могил Все, кто город сей создал, украсил, любил,

Дожи, старцы седые, сто двадцать числом — Голоса их у Марка грохочат, как гром —

Все сыны его славные славу поют, Робко вторит им путников набожный люд,

И слагатель сих строк, недостойный пиит Рядом с милой женой на коленях стоит

Перед дверью — не раз тут бывали они — Церкви Santa Maria Mater Domini.

Оба голоса

До зари ярым воском те свечи горят, До зари песнопенья к Пречистой летят,

И Пречистая жаркой молитве вняла, Со плечей своих плат златотканный сняла

И покрыла им город, сокрыла его, В высоте-глубине схоронила его,

А поющих и славящих всех собрала, Ко престолу Всевышнего их вознесла. И сейчас, когда в Местре сирена ревет И в Маргере, ревя, на работу зовет,

Ты оттуда взгляни на восток: тишь да гладь, Колоколен тех стройных вдали не видать,

Вся лагуна, как зеркало, реет над ней Только веянье легких жемчужных зыбей.

HET

Четыреста мостиков и мостов Со ступеньками вверх и вниз. Я по ним до утра ходить готов, К ним спешу и лечу — зовет их зов — Как лунатик на свой карниз.

А под ними чуть слышный зыбкий плеск, Потускневших огней неверный блеск, Исчерна зеленая муть, Где мерещится мне затонувший лес Кораблей, потерявших путь.

Хворый говор домов, воркованье веков, Перебор приглушенный — слышь: Порча пудренных париков, Червоточина челноков, Пришепетывающая тишь.

Разговор-перебор, перегар, — пустоцвет Нескончаемых прошлых лет, Суховей пролетевших дней. Нет, нет, нет. Нет в домах людей, Нет на Площади голубей, И не я, тень моя С мостика на мост До предутренних звезд — По ступенькам скользит, Вдоль каналов летит... Нет! Нет меня. Нет меня.

ТАМ ЖЕ ЕЩЕ РАЗ

Темнеет жизнь. Но тут Милосердный не меркнет свет. Тут, где не сеют, не жнут, Внятен зыбкий завет Всех улетевших лет, — Всех минувших милых минут Неисследимый след.

Жгучих, жгучих минут... Камни о них поют, Ветры возврата их ждут, Воды им плещут в ответ. Тут, где не сеют, не жнут, Небо — нежнее нет.

говорит венеция:

«Забудь свой век, свою заботу, Себя и всех и все забудь, Сквозь предрассветную дремоту Скользи, плыви — куда нибудь,

Под крутобокими мостами, Вдоль мраморов и позолот, Туда, где светлыми шелками Расшит янтарный небосвод.

Ты в гондоле без гондольера, Во власти ветреной волны Тебе неверие и вера В двойном их трепете даны.

И помни не внутри: снаружи Душа всего, чем ты живешь, В узоре тех нездешних кружев, В улыбке уст, чья ложь — не ложь.

Правдивей злата позолота, Жемчужней жемчуга заря, С тех пор, как опустил в болото Безвестный кормчий якоря.

И воссиял над синевою Сон, что тебе приснился вновь. Не просыпайся: я с тобою; Проснешься — разметет грозою, Зальет соленою волною Твою последнюю любовь.»

губбио

Гордый Губбио! Жесткий, крутой, ты весь против шерсти, Наперекор! Не в долину сошел, а врезался в гору, Вверх и вверх бороздить ее стал валами, домами, Речку в ров превратил, вместо улиц вырыл траншеи, Грозно ввысь взгромоздил престол гражданской державы. Крепок и крут твой холм, как твой герб: над кручами кручи; Губишь. Губбио, всех, мнивших тебя погубить. Выгнал бесов кроткий Франциск из Ареццо, но волка Злесь пристыдил, укротил, под стеной твоей.

Мудро преданье! Волк ты сам. Твой камень — волчьего цвета. Все знают: Был ты зубаст, матерой, шерстью вверх, серый волк, старый волк.

две свечи

Две свечи на прощальном, на брачном пиру, Это значит: я в сердце твоем не умру,

А в граненном стекле виноградная кровь Говорит мне: была, есть и будет любовь.

На серебряном ложе твоем — в небесах — Ты еще не возляжешь, вся в белых цветах,

Как сомкнутся навек голубые глаза, Те, что были сапфир, а теперь — бирюза,

Те, что меж двух огней, и светясь, и скорбя, С безответной любовью глядят на тебя.

Ни о чем не прошу, ничего не ищу — Ты сама пред иконой поставишь свечу,

Две другие зажжешь, и «одна, без гостей» Ты вина подольешь — *милой* тени моей,

Поглядишь на ее *молодое* лицо, Поцелуешь, в слезах, золотое кольцо,

И сквозь слезы любовь, хочешь ты или нет, Не на ложе, так в сердце получит ответ.

Оттого ведь я брачным наш пир и зову: Этой тенью в тебе и сейчас я живу.

**

Никого на корме, и огней уже нет за кормой... Уплываю во мглу, уплываю во мглу и в разлуку, А все свет у меня на лице, все я светел тобой, Оттого что в руке я держал твою кроткую слабую руку.

Эта женственность рук, ничего нет на свете больней... Вот погас и тот луч на беззвездном ночном небосклоне. Если вспомнишь меня — иль приснюсь — дай мне руку во сне,

На глаза положи мне сквозь сон холодок твоей легкой ладони.

БЕГЛЕЦЫ

Улепетнул на север Мосо, И с кралечкой они весь день Пьют пиво, курят Кент без спроса, Картузик ломят на бекрень.

Он не без узеньких штанишек И куртки грубой, а она — Спросите лучше у мальчишек — Вся солнцем всласть пропечена.

Держи! Хватай! Эх, улизнули... В июне тешили Даймус, И нет их. Глянь-ка, где в июле Маячит красненький картуз?

М. Б.

На розовом пороге мая, Как и в ненастном ноябре, Ты та же все, моя родная, Ты все такая же, такая, Как мне явилась на заре

Тех дней, что к вечеру склонились, Твоих, моих далеких дней, — Как будто мы вчера женились, Как будто мы всегда любились И ждет нас вечный Гименей.

ASSUMPTIO CORPORIS

Пассарелли, где ж ты? Или Пиньятелли Паганелли. — Нет тебя больше. Переменили вывеску. Перекрасили стену. Потчуют рыбой, как рядом и напротив, Да бифштексом с жареной картошкой. Tagliatelle, cannelloni — где им! Сварить, как нужно, не сумеют, Из кастрюли во-время не вынут, Запивать, чего доброго, прикажут пивом.

Вella Napoli, перед Антверпенским собором, Addio! Тут-то уж никто Сбивчивым шажком, когда заказан кофе, К столику не подойдет; с улыбкой — Ох какой затасканной, потертой — не предложит Даровую рюмочку гостю; из чуть-чуть дрожащей Бутылки не нальет, на скатерть все таки не капнув; И не отойдет с поклоном за конторку, — косо, Как ноябрьский лист, сам собой, без ветра, Догнивать слетает медленно на землю.

В пиджачке твоем мышиного цвета Ты казался тенью, Паганелли, По узкой лестнице, скок-скок-через-силу Подымаясь услужливо и тщедушно, Комнату показывать, что у тебя сдавалась И на сутки, и меньше, чем на сутки, С холодною водою и горячей, Приезжим, но и не одним приезжим.

Нет тебя. — Ну что ж; я хотел... Ничего. Пойдем. Я тебе покажу. Тут же рядом, близехонько, в соборе. Разве ты не знаешь? Он у вас учился. Паоло. Питер-Паулус. Пьер-Паоло. Ах какой был мастер! Что? Нет, нет, Вовсе не те трехстворчатых два складня —

Слишком молод был он, чересчур старался — Пусть другие глазеют на них за деньги; мы же Даром, а если и не совсем, то без билета. Двери заперты, но под башней сторож Впустит нас в алтарь, куда и за деньги не пускают.

Идем. Не дрожи. Не спотыкайся. Дай-ка лучше поддержу тебя за локоть. Ишь какой ты стал. Ничего и не весишь. А скрючило тебя пуще прежнего. Табес? Было на то похоже. Все равно; дойдешь. Две

ступеньки, --

He то, что до старого твоего confort moderne. И еще две. Сядем, где не нам полагалось бы садиться. Свет включим: пасмурно, дневного мало. Теперь смотри. Не дрожи, пожалуйста. Смотри.

Видишь? Апостолы у пустого гроба И святые жены, в горестном смятеньи, В скорби расставанья, в скорби, но — ты понял? В радостной скорби, хоть и Радость их уже не с ними.

А вверху, в сонме сил небесных, В хороводе ангелов кружащихся и ангелочков, В одеяньи цветиками малыми расшитом, белом, Бело-голубом, светло-синем, синем, Она. — Иоанн к ней простирает руку, А другою вот-вот глаза себе прикроет. Чтобы защититься от Ее сиянья.

Молода, стройна Пренепорочная; легче ангельских Ее руки;

Лик румян и светел. Теплою волною Светло-русые кудри стан ее ласкают.

И небесно-синий

Светит свет в очах Ее, глядящих в небо. Не бесплотна Благодатная: живет и дышет; Женственней всех жен Дева-Приснодева,

Краше всей красы мира, сердцу нашему ярче солнца, Всей любви, всей жизни земной Царица, В небо вознесенная, навстречу Сыну, Матерь и Дщерь Его, Неневестная Невеста.

Паганелли, молись. Дай руку. Станем на колени. Скажем вместе... Но где ж ты? Тень твоя мышиная, и та исчезла — Прошлогодний лист в весеннем перегное. Или ты — там, в нижнем углу, направо, Рамою прикрытый, заслоненный могучими мужами, Невидимый мне, глядишь туда же, В синеву, ладонь к ладони прижав, И плачешь?

Где ты, Паганелли? Ответь откликнись.

ПОХВАЛА ФОТОГРАФИИ

Два старика на скамье под деревьями: Фет и Полонский, Седобородые оба, кряжисто-крепкие оба, — Боже, какие у них пиджачищи, штаны, сапожищи! Девятнадцатый век, тяжело шагая к закату, Взращивать пенебрегал «Феокритовы нежные розы» — Ведь уже и Толстой, Алексей, в лицо рассмеялся стихами Деве (с разбитою урной), Пушкиным славно воспетой.

Но старики повоюют. Полонский выпрямил плечи, Жестом ораторским, или «гражданским» руку приподнял, Зычно сейчас зазвучит надтреснутый старческий голос; Фету стихи он прочтет, а тот, добродушно нахмурясь, Приготовляется слушать, сам, в свой черед, полагая Другу еще раз поведать о «шопоте-робком-дыханье», Миру всему показав, что музы их живы и юны.

Слава фотографам! Их небожественной матери слава! Живописцы, ваятели, всех веков, простодушно старались Встретить в поэте поэта, явить его миру поэтом. Редко того достигая, прибегали к нарядам, эмблемам... Нынче, все их потуги пресек правдивый фотограф: Нас он, лаврам наперекор, и всем аллегориям, учит, Что поэты — люди, как люди; разве только, быть может, Светочувствительней прочих. А свет — и поэзия — в Боге.

двое вдвоем

«Время прощается с нами», — Филемону сказала Бавкида Хилой коснувшись рукой глаз его полуслепых. — «Помнишь? Нездешний наш гость оказал нам высокую милость:

В миг единый, не врозь, кончится время для нас. Близится он, подошел. Если хочешь, из-дому выйдем. Сядем под дуб на скамью, где так часто сидели вдвоем. Деток милых нам не дали боги: только друг друга; Друг от друга теперь не оторвать нас и им.

Медленно солнце садилось, ветерок повеял прохладой, Кашкою пахло с лугов, пахло левкоем со гряд. Обнял, как встарь, Филемон Бавкидины хрупкие плечи, Голову молча она ему положила на грудь. И затихли вдвоем. Чуть слышен был — шелест иль шопот? — «Милый», «голубка моя» — лепет счастливой любви. Смолк понемногу и он. Две ласточки в небо взметнулись. Тихо седые власы нежный трепал ветерок.

Медленно солнце садилось, ветерок все веял да веял, Но, словно ключик в замке щелкнул, и замерло все. Время к концу подошло, прекратилось движенье, отныне Не шелохнется листок, не пролетит мотылек. Солнце остановилось, забыли звезды зажечься. — Двое все так же сидят, так же вдвоем на скамье. Бьются сердца их? Бог весть. Пусть бились бы вечно! Не знаю.

Но, если кончился мир, что же осталось? — Любовь.

проснувшись ночью

Тихо. Так будет в могиле. — Шутишь? В могиле не тихо. Там — никак. Не темно, не светло, не тихо, не громко. И ничего там не будет: кончилось «было» и «будет». Нет, для тебя, ничего, раз и «тебя» уже нет.

Смертный, *могилы* не бойся. *Тебя* землей не засыпят. Час настанет, уйдешь от живых; но не к мертвым: *нет* мертвых.

Ангел твой слезы рукою смахнет, улыбнется, и вот уж Ты — только в том, что любил. Ты только там, где Любовь.

УМИРАТЬ НАДО В БЕДНОСТИ

Умирать надо в бедности. Желто-серой ветхой клеенкой Стол в Духов день был покрыт, когда отец Сергий, Чаем гостей угостив, на плечо положил тебе руку И в сторонку отвел, известить о своей предстоящей кончине.

Умирать надо в бедности, и в состраданьи к страданью. — Так говорил Заратустра извощичьей кляче в Турине. Поскользнувшись на льдистых торцах, лошаденка свалилась К ней он кинулся, пал на колени, обнял шею ее и заплакал.

Умирать надо в бедности. Иль ты мнишь, что семь тысяч Книг побегут за гробом твоим при выносе тела? А тетради свои, все писанья сожги: так вернее и проще. Доживай свои дни в состраданьи, в смиреньи, и Бедность, Смерти подруга, без зова придет и с тобой пребудет навеки.

КОСТЕР ГЕРАКЛА

Дрогнули гордые кедры на величавой вершине: Сам, в исступленьи безумья, рубил их Геракл разъяренный, Каждый ствол в два удара. Два. Еще два удара. И секиру бросал он, ногтями с тела сдирая Мерзкие, липкие клочья лровавой рубахи кентавра. Клок — с ноготок — отдерет, и секиру вновь он хватает: Жгучий терзает его зуд разжигающий похоть, Зуд чесучий, язвучий, неуемный, неугасимый... Пламенем пламя уйми! Строй костер! Взойди на костер! Филоктет

Рабы работы ждут. Велишь нести стволы? Ты

Геракл в тех же мыслях?

Сюда стволы! Пусть ветви рубят, хворост тащат! Филоктет Скорей! Невмочь!

Я поднял руку. Вот! Гляди: бегут. Но ты все так же хочешь... Геракл

Огня, чтоб сжечь огонь. Сдеру — сильнее жжет, Хочу... Её! Филоктет

Кого «её»? Омфалу иль Иолу? Иль Дейаниру... Нет! Геракл

Её, её, проклятую её! Омфала — тень. Иола...

Филоктет

К Иоле ты бежал от Дейаниры. А нынче как же? Вспять? Геракл

Любовь влекла меня к Иоле. К той — пакостная похоть. Филоктет

Которую ты на костре задумал сжечь? Одумайся! Геракл

Зажжен! Зажгла. Горю! Коварный дар кентавра мне прислала...

Филоктет

Чтобы веянуть себе твою любовь, столь ею... ценимую.

Геракл

Вот, вот, «любовь»! ЛЮБОВЬ! Девицею еще она меня По весу и размеру оценила. Средь многих женихов Я всех плечистей, мускулистей оказался. Всех ловчей Метал копье и диск. Движенья эти и в борьбе свирепость Сочла царевна верным предзнаменованьем своих утех Супружеских со мной. Я избран был. И взгляд ее

нескромный,

Еще до поцелуя бесстыдно приоткрытых влажных уст, Явил причину этого избранья; а во мне зажег То самое, что жжет меня сейчас. Скребясь вот этой щепкой, Дейаниру с себя сдираю; рвусь объятье и рук и ног ее Резжать, разъять. Испепелить огонь. О, всех она желанней! Всех слаще — обаяньем истязанья, отравой диких ласк, Извивов и соитий мерзкострастных. Неотразимей всех! Моей Омфалы и моей Иолы. И Афродиты, если не Любви она богиня, а совокупленья. Нет. Я лгу: Иола — не моя. Я не ласкал ее. Любил, люблю Любовью, а не склизким вожделеньем. Я от него бежал К любви. Но вот оно в погоню шлет за мной кентавра дар — Предсмертный и смертельный. Дейанира не

погапалась? Нет:

Она «любви» моей желает, а не смертиь Кентавр шлет смерть В отмщенье за свою. Сулит мне смерть в пылании желанья И муки. Принимаю. Палящий зной ожесточу огнем! Стрелой отравленной сразить мне надлежало — её. Одну. Он прав. Он друг мне был, пока его она не совратила, Кентавровых не пожелала ласк. Ла-ла-ла-ласк! Я пасть, Я пышащую пасть всем устьям, всем устам, всем

Филоктет ла-ласкам, всем...

Костер готов; и льва немейского покрыт он шкурой. На ней И палица твоя. Ты мне оставил стрелы. Я одну...

Геракл

Нет. Пусть, горя, сгорит. Как я. Прощай! Иола, ты не жжешь. Ночью, печальные пни на пустынно-царственной круче И седое пятно от костра луна созерцала немая... А когда разжигали костер, ленивое медлило пламя. Вдруг запылало во тьме, стволы озарив отовсюду. Встал во весь рост на ложе Геракл, и палицей тяжкой В раскаленное сердце костра со страшною силой ударил. Рухнуло все, сам он рухнул и в черном дыму задохнулся. Но и черно-свинцовая туча с небес опустилась. Молния вспыхнула, гром прогремел; рабы разбежались, А Филоктет от костра отошел и радостно руки К небу и к Зевсу воздел, сына приявшему в небо. Возвратясь, увидал: ничего от костра не осталось. И ничего от Геракла, — ни кости, ни пепла. За друга, Утром, ягненка поймав, вседержителю жертву принес он; Друг же, в то время, давно возлежал на пиру Олимпийцев. — За облаками очнувшись, он Гебу первой увидел: С кубком к нему она шла. Он ласково молвил: Иола! Геба ему улыбнулась, зная, что вышнею волей Предназначена в жены ему, для него оставаясь Иолой, Чтоб он бессмертье вкусил сквозь любовь и в улыбке Любимой.

Богом, от кубка испив, он стал, то есть кем-то, Чье бытие — но не сущность — смертным умам непостижно.

А покуда пирует он, — там, на лесистой вершине, Веют, взвиваются вихри, и следы от костра заметают.

Июль 78

тогда и всегда

Вольные дистихи

Посвящается М-е Б-ой

Невозвратная даль, как ты жадно летишь мне навстречу!
Из дремучих лесов, но ты здесь, ты снова с мной;
Горячо обняла, горячей чем в недавние годы
Потому что я стар и что близится время к концу.
Приближаться к концу, это и возвращаться к началу,
Устремляясь туда, где уж нет ни начал, ни концов,

Выметая из жизни весь сор ее, все неживое Сжав в комочек рукой всю ее радость и боль.

Мне пятнадцатый год. Я с отцом у невых соседей. Входит дочка их. Я вижу ее в первый раз.

Пять годков ей всего. Приседает. Целую ей ручку. Нежный очерк лица. Две косички у ней. Но глаза—

Нет на свете таких. Нет яснее и чище на свете.

Улыбнулись они: вот зеленый лужок в небесах.

Невозможное счастье мое! Ты такой навсегда и осталась! Жить с тобой на земле значило жить и в раю.

- Если б я понял тогда, очарованный крошкой тобою... О еслиб только тебя! Если б с тобою одной!
- Если бы, пусть и не в пять, а в осьмнадцать лет твоих мы бы Соединились уже... Я тут один виноват...
- Но полвека мы все же вдвоем, и всей жизни своей я не мыслю Без тебя, мой хранитель и друг, без тебя светлячек золотой.
- Гляну: ты возле меня; в себя загляну: ты со мною, Девочка, что так светло мне улыбнулась тогда.
- Невозвратная даль! Как ты бурно летишь мне навстречу! Возвещая покой, но и даруя дары.
- Нет мне дара дороже, нет отрадней в бурях покоя, Чем улыбчивый взгляд, что подарен был некогда мне
- Девочкой маленькой, нынче женою моей перед Богом, Чьи глаза затуманит слеза, чья рука прикоснется ко лбу...
- Боже, в смертный мой час, дай эти глаза мне увидеть, Руку дай эту узнать, чтоб я мирно в Тебе опочил.

ВСЕВЫШНЕМУ

Не видел я Тебя. Тебя нельзя увидеть. Но я живу в Тебе, и Ты во мне живешь. Я — Твой. Я сызмала учился ненавидеть Все, что нас тянет вниз, в грязь, суету и ложь.

Нечист я, и брезглив; глуп, и высокомерен, Себялюбив, но лишь Твое в себе любя. В низинности моей Твоим высотам верен, В любви, в красе, в добре — в игре — ища Тебя.

Исчезну весь в Тебе. Пора. Но если мнимым Все было, чем я жил, как лгут лжецы, и... и Тебя — нет. Нет. Тебя. Тогда тем набожней с Тобой Неисследимым Безропотно сольюсь в двойном небытии.

Hôpital St. Antoine

21-22 дек. 1978

С. Н. «ГДЕ Б ДУШИ НИ ВИТАЛИ»

Es wird der bleiche Tod mit seiner kalten Hand Dir endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen

Christian Hofmann von Hofmannswaldau (1617-1679)

«Коснется смерть твоей груди Рукой костлявой, ледяною.» Коснулась? Где ты? Не со мною. Забыла? Память разбуди.

О том, как — хоть с ума сходи — Так нежно я дышал тобою, Впервые, долгой чередою Целуя грудь твою... Войди

В тот миг. Он тут! Мы — те, не эти. Он вечен. Он сильней всего! С тобой я вновь, — как на рассвете,

Дышу тобой, поймав его. Нежней нет ничего на свете, У Бога, в Боге — ничего.

подойдя к окну

Что ты мечешься, красный флажок, На шесте своем бьешься и вьешься, Чуть прильнешь, и опять... Эх, дружок, Разорвешься ты, или сорвешься.

Ни души на измокшем песке, Рвутся к дому высокие волны, Но тебе-то? В смертельной тоске Трепетать для чего тебе? Полно!

Трепетать, трепеща извещать... Сам все знаю. Не стоит стараться: Больно жить, тяжело умирать — Эх, дружок — и опасно купаться.

1979

II

на память обо на машдэшочпонаад

••

Еще пленительно готово В трепещущую тишину Слететь ласкающее слово Из уст твоих, подобно сну.

И в зеркале еще я вижу Тебя у мрамора часов, Как пальцы розовые нижут На стрелки цепь из жемчугов,

Еще на хрустале тарелки Живой темнеет виноград, Остановившиеся стрелки Еще целуют циферблат,

Но непробудное молчанье Уже зовет, смирясь, уснуть Дыханием воспоминанья Едва колеблемую грудь.

Пермь, 1918

ТЕРИОКИ. 1914

Ты помнишь облака и ветра вкус соленый, Береговых холмов задумчивые склоны, Неторопливый день, неспешную волну, Дыханья каждого немую глубину: Ты помнишь отчего, сомкнув глаза, в покое, Мы не могли вкусить молчание морское — Так странно стало нам и страшно наконец Двойное бдение томящихся сердец. Исполненных вдвоем единою тревогой, Неизъяснимою, и жаркою, и строгой, И робкой без конца; и отчего в тот час Молчали долго мы, не открывая глаз, И вздрогнул я, и ты порывисто вздохнула, И в теплой музыке ласкающего гула Полуденной волны, на золотом песке, Еще не опытным в разлуке и тоске, Впервые стали нам и ведомы и любы Любви — самой любви — трепещущие губы.

Пермь, 1919

COHET

Зачем той ночью ты мне наливала Багровое и душное вино? Я пил, и было музыкой оно И черная волна во мне пылала.

Тобой, одной тобой оно пьяно, Собою ты его околдовала... Зачем бездонной эта чаша стала И выплеснуть ее мне не дано?

Пустынный, раскаленный и безмолвный Зачем сегодня этот ветер дул, И я в тревоге смутной не заснул.

И вышел к морю и томленья полный Угрюмо слушаю ваш черный гул, Тяжелые полуночные волны?

1919

* *

Багряным вечером все глуше и темней Усталый пламень туч мгновенных, Ночные небеса — ристалище теней Остановившихся и пленных.

Вином и кровию потушены лучи И душу, жаждущую мира Алтарным сумраком в торжественной ночи Объемлет тусклая порфира.

Томск 1919

* 1

В седые дни мои, бессилен и согбен, Погодой ясною вдоль этих белых стен Я медленно пойду и сяду на припеке, Ладонью подперев морщинистые щеки, Невнятно бормоча навязчивый припев, И быстрый луч блеснет, когда, запечатлев Нужды и старости привычную науку, Монета упадет в протянутую руку.

Томск, 1919

* *

Пусть этот нищий день войдет неслышно в сени, Безмолвным пришлецам гостеприимен дом, Я сяду рядом с ним на голые ступени Подумать, может быть, о старом, о былом...

И вечер пусть придет и на глаза положит Прохладную ладонь, чтобы напомнить мне Невозвратимый час, который был и прожит В оцепенении, в дремоте, в тишине.

А ты, осенний вихрь, кружись ломая руки, Как в ночь далекую, когда ты пел и выл, Когда мой робкий стих в смятении и в муке Неверный голос свой с твоим соединил.

Томск, 1920

Чего мне ждать еще, когда приходит сон В ночи привычной и желанной? Чего хотеть еще? Без снов все тот же сон, Все тот же сумрак бездыэанный. Лишь в самом сердце сна я слышу голос твой, И лишь сквозь сон ему внимаю — Молящий, нежащий, бессильный и живой — А что сказать тебе не знаю.

Редет ночь вокруг, но я тяжел и слеп; Бежит нещедрое похмелье... О дом холодный мой, и день, и труд, и хлеб, И это черствое веселье!

Томск, 1920

Прошедшее свое минувшим не зови:
Оно кипит еще в хладеющей крови,
В душе мертвеющей оно, как прежде, живо;
И помни, даже в час ущерба и отлива,
Когда ты стар и слаб и болен и один,
Бог знает из каких потемок и глубин,
Как вздох подавленный, как тайное желанье
Оно придет к тебе, твое Воспоминанье.

1921

III

СТИХИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1921 ГОДА

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Зачем ты пришел и кто ты, зачем ты вошел в мой дом? Я лежу на спине, я вижу, я повернут к тебе лицом.

Я вижу деревья и небо моих девятнадцати лет, Эти тощие сосны, и в небе предзакатный холодный свет,

И глаза слишком близко чужие, губы, как к горлу нож, Мою ревность и злость и муку, мою скуку и мою ложь.

Я вижу упрек невнятный на мертвом лице отца, Все, что порвано, все, что убито, и во рту этот вкус конца.

Этот вкус, тошнота, зевота, сердце бьющееся не спеша, Этот жесткий ум в моем теле, и эта брезгливая душа.

И если здесь Ты взаправду, то ищи меня на самом дне, Что мне в том, что я помню и знаю, если Ты пришел ко мне?

Только музыку дай мне услышать, — и я весь, как единый звук И жизнь, как прочтенная книга, упадет из раскытых рук...

Только музыку ветра и моря, только музыку неба, и я Прошепчу: ослаби, остави, да будет воля Твоя.

Пермь, 13 июля 1921

Смотри, вот речка и козы твоих старых, глупых стихов, Ветерок прохладный и чистый, как звук пастушьих рогов...

И в комнате тоже вечер, и там открытое окно, И голос низкий и смутный, и тяжелый, как вино.

Чего же ты ждешь, чтобы вспомнить? Это, как ночная тишина, Кто пил ее, тот ее знает до последней капли и до дна. Ты пил и обжег себе губы и выпил и стал умней, Что ж, в тебе немного лжи и злобы, да немного смерти в ней,

Да еще этот дом казенный, этот город широкий и смешной, Да гром нагруженной телеги, да твои шаги по мостовой.

Вот оно, то, что было, словно море ушло назад И остались битые бутылки да пустые жестянки на песке.

Пермь, 28 июля 1921

похороны блока

Вот он лежит пред нами, и его грехи прощены, И мы с ним, но мы нищи и немы и нечисты и темны.

«Вольный же и невольный», но не нам отпущен грех, Только голос единственный отнят, только сердце последнее у всех.

Вот мы здесь, мы с ним, мы узнали его тяжесть на наших плечах И знакомое лицо так близко, и могильный холод на губах.

Мы здесь, мы отведали яства, мы испили сладкого вина, Мы вкусили смерти и смрада и земли и мерзости до дна.

И женщина больше не плачет, и священник не молится за нас...

Господи, дай мне силы в этот жестокий час!

Дай мне слово Твое, как рыданье, и молитву похожую на крик. Я такой же, как они, я с ними, я в скорби к земле приник.

Не могу, мне больно, мне трудно, я грешен, я гол, я пуст! О крик из скупого сердца и молитва из сжатых уст.

Я молчу, шевеля губами, и кто-то смотрит на меня. Вот мать его, и могила, и начало долгого дня.

Петербург, 10 авг. 1921

ПСАЛОМ

В этот вечер (и ночь уже близко) мой друг, ты покинул меня. Вот город и вечер и между скользкими камнями, точно дверь открыта, вода.

Было мало сил уже, было мало надежды, но теперь ты покинул меня.

И это больше не утро, подобное румянцу на щеках, о мои открытые глаза!

Чего же ты хочешь от скупого? Чего ты ждешь, мой друг, от бедняка?

Вот стол накрыт в воскресенье. Вот ножи и тарелки и скатерть, и на славу все удалось:

Печеный хлеб и картофель и рыба и что-то сладкое еще; И ладони прижаты к груди, и сердце быстрее бьется (а хозяйка еще на кухне), о гость, и ты не пришел.

Гость, ты не пришел сегодня. Господи, Ты не пришел! Вот я один в моей скверне и в одежде моего греха, В этом городе, у грязного канала и в тусклом свете фонаря. (О сырость до самых костей и запах гнили и воды!) Точно дверь предо мной раскрыта и внизу этот вязкий

плеск...

Но еще раз, Господи, еще раз, я еще раз зову Тебя! Посети меня в моем доме, раздели со мною мой хлеб! Тишину мне дай и молитву и крупицу Твоей любви! Не потому, что я чист пред Тобою, но я мытарь средь мытарей Твоих.

Не потому, что я чист пред Тобою, а потому, что мой час пришел.

Петербург, 14 ноября 1921

наводнение

Мне сладостна ночь без неба и черные воды на земле, И с крепости выстрел, и ливень, и этото глубокий вихрь. И шаг неверный во мраке, и вихрь, и крик, и паденье, как лист, затоптанный в гряяь. Согрешил, ослаб, поскользнулся, хорошо мне остаться здесь.

Как плясун ударяет ногой квадратную сцену и крутится и летит:

Вот вертящееся солнце, и будка, и глупая кулиса внизу, И только сустав хрустнул. Он стоит и не видит и поводит мутными глазами и слышит как бы чей-то смех. На губах — пена и кусок кумача в руках и лучше бы он упал.

Господи, я упал и я не встану, но останусь тут до утра, Как тогда, с той женщиной вместе, и ее рука на моих губах до утра...

Горячая рука на моих губах до утра. О ночь в июле и посреди лета эта сонная весна!

И рассвет в окне, и шелест деревьев, как чаша переполненная вином, Как чаша полная вина, как время которое проходит, как миг, которого нет. Уже семь, и она закрыла глаза, и утро на ее лице, как сон. И это уже не ветер больше, и я слышу скрипки, и флейты и трубы И все началось и кончилось тогда.

А все таки если б можно было не вставать, если б только можно было остаться здесь

И не помнить, но забыть и лежать
На этом месте, где я споткнулся, и солгал, и упал,
и где земля покрыта грязью и водой...
Но Ты велишь мне встать, и идти, и помнить, и всего

10 Ты велишь мне встать, и идти, и помнить, и всего себя нести в себе;

И я встану, это только мгновенье, я упал, но я встану и пойду Голый, как это дерево под ветром, как эти воды нечистый пред Тобой, Шатаясь, полный ночи и вихря и свинцовой воли Твоей, Подобной тяжкому хмелю и бичу разъяренного стиха.

Петербург, 5 окт. 1921

ОДА

Как мороз обжигающий лицо!

Как утро бесснежной зимы, как ветер с голых островов. как мороз обжигающий лицо! Как солнце в стеклянной стуже раскаленное до бела; Как громкий смех, как рыданье, — о жестокая радость во мне! Как гнев изведенный из камня, как сухая искра под кремнем! Вот жезл и жесткий удар, ты слышишь? Точно брызги внезапных слез: Поток, я припал к тебе губами, горечь, я пью тебя, Я пью это грозное веселье и в самых костях моих — смех! Как-бы скрытый танец в моем теле, как-бы соль в моей крови! Я один меж вас, о люди, я не знаю ваших дорог,

И ты, кто был моим братом, нет, я не ищу тебя! Вы касаетесь меня локтями; я иду, что вы смотрите на меня? Мне довольно вашего пота и хлеба крутого как земля. Мне смешно, моя дикая, с ними! Я свободен меж вас,

я чист!

Мудрые, я глупец.

О женщина в толпе с ребенком! ты не увидишь моего лица.

Радость, я беру тебя.

Я не бедный юноша больше, когда жизнь как листья на деревьях и как зеленое яблоко на зубах.

Но я познал мой рост и мое лето, я измерил день

вокруг себя,

Как человек с раскрытыми руками посреди мира голый и немой:

Вот земля, чтобы лечь на землю и небо, чтобы закрыть глаза. Но нет! он смеется, он не хочет! О радость скажи им — нет! Что? Они хотят нас утешить? Они хотят нас убедить? (Это мать меня видела ночью и проснулась вся в слезах). Нет! мы им скажем — довольно! Нет! Скажи им нет! (Это кто-то назвал мое имя, это кто-то улыбнулся мне). Скажи, скажи им — нет! Моя любовь, моя глупая птица, Радость, скажи им — нет!

Петербург, нач. дек. 1921

НАЧАЛО ДИФИРАМБА

Предводитель хора

Мы молчим, мы встали. О живые! О люди, как звонкое стекло, Полное горной воды до краю, полное крови и воды, Полное крови, подступившей к сердцу, и ветра, и неба, и огня... Как фонарь на высокой мачте, как тот, кого мы любили на уходящем в море корабле — Он стоит на корме — глядите, и вот море только и туман... Братья, мы встали, мы дышим, я дышу, наши руки дрожат, И все пролетело мимо. Мы встали и не можем понять И мы знаем только этот час среди ночи и душу которая в нас...

Хор

«Только этот час среди ночи»... Мы не спим, мы слышим тебя.

О речь подобная нашей, о человек, мы одни.

То, что мы знали, — не с нами, и вот твой голос во тьме Точно эхо ветра и камня и железа, сорванного с крыш, Точно сон, но мы не спим.

Мы вкушаем трудный воздух и времени горький свист, И даже закрыв глаза,

Мы видим слабый свет, мы дышим, мы живем На черной земле, босые, мы стоим с непокрытой головой, Без дома, без креста,

В предразсветной влаге, дуновеньи Ветвей и листьев в волосах.

59

ТРИ НЕПРИЯТНЫХ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Песня

Старик, я тебя жалею, но когда же ты кончишь свой хрип? Как у тебя пальцы к дудке не примерзли и язык к зубам не прилип!

И эти надутые щеки, как они не лопнули еще! Смотри, извозчичья кляча кладет тебе морду на плечо.

Но мне тебя тошно слушать, и я тороплюсь домой, — У всякого свои заботы, и я не хуже, чем другой,

И я вижу, мой брат перед Богом, что для зимы ты немного налегке, А у меня есть душа живая и бумажка в кошельке,

Я дам тебе эту бумажку, а душу оставлю для себя, У всякого свои заботы, и ей нет дела до тебя.

Ей нет дела до тебя, довольно! и только совсем впотьмах Сжимается умное сердце и стучится тайный страх,

И я слышу деревянное дребезжанье, и потом этот полый звук, Когда воздуху больше нету и дудка падает из рук.

Старик, я тут, я с тобою, мои губы тоже в крови, Я принес тебе эту песню и слезу дешевой любви.

30 дек. 1921

Другая песня

Мой сосед за столом сегоднч, у тебя брюшко и плешь, Ты не очень чисто вымыт, ты не очень опрятно ешь,

Ты — картежник, ты — плут, ты — бабник, ты умеешь взятки брать, Ты не знаешь меня, но ты смотришь, точно хочешь денег занять.

Мой сосед, зачем тебе деньги, ведь ты сегодня умрешь, Уж ангел пришел за тобою и смотрит, как ты жуешь,

И вот ты сразу бледнеешь и видишь — и не можешь сказать... Я очень рад, что я молод и что мне не скоро умирать.

И с тебя срывают одежду, и я вижу душу под ней, И хоть гнусно было тело, но душа еще гнусней.

Господи, так ему и надо, но я не такой, как он, Я очень пристоен и вежлив, я очень ловок и умен,

Я делаю все, что нужно, я пишу прекрасные стихи, На меня взирают дамы и прощают мои грехи.

И хоть я, пожалуй, не лучше чем тот человек за столом Но до смерти еще далеко, и я подумаю потом.

31 дек. 1921

Стихи на праздник

Точно ватный снежок на елке, на моей душе благодать. Ты не бойся меня, мой мальчик, я хочу тебе пряник дать,

И вы, хоть я вас и обидел, я узнаю вас всех, Слава Богу, мы — не чужие, и обиды помнить грех.

Подойдите ко мне поближе, чего же вы ждете? пора, Я с вами, сегодня праздник, позабудьте, что было вчера.

И пусть я вчера вас предал и может быть завтра предам, Но как же не дать мне руку, если я вам руку дам?

Но как же не дать мне руку, если я и вправду тону? И когда б я взял ваши деньги, я сказал бы, что их верну,

И хоть взял я не деньги, а душу, хорошо, я виноват, Но не вечно же помнить об этом, и у нас земля, а не ад.

Подойди же ко мне, мой мальчик, подойдите и вы ко мне, Я любил вас, правда, не много, но я изменил вам вполне,

И хоть это только сегодня, да зато на распашку душа, Я готов и любить и обнять вас, это мне не стоит ни гроша.

31 дек. 1921

1922 - 1925

ПРОЩАЙ И ЗДРАВСТВУЙ

1

Я сказал. Без любви, без гнева. А ты все молчишь? Ну что-ж, Это все. Ты хетела правды, и она страшней чем ложь.

Но всего страшней быть может, когда так, как мне легко. Что ты смотришь в глаза мне? ты веришь? что ты смотришь так глубоко,

Как будто и ты уходишь: но нет, ведь это — твой дом, Зимний полдень, звон колокольный и круглое солнце за окном.

И лучи на полу и тени и эти четыре стены... Те, кто отдали всё, скажи мне, разве они бедны?

И те, кто в единой муке, расставаньем полны одним, Им не надо другого неба и я завидую им!

И тебе; этим пальцам холодным, этим жалким сухим глазам, Этой муке, что ты не дала мне, и той, что я дал тебе сам.

Прости. Да уж ты простила. Прощай. Дай руку. Пора. На земле ты была со мною и теперь тебе ночь — до утра!

А мне... Мой друг, мой ангел, в страшном свете иного дня Есть рай для того, кто любит, но нет и ада для меня. Ведь мы разставались надолго, но кажется ты пришла Мой щегленок, мой хроменький ангел, — и за плечем два слабые крыла

Вот шаги твои по дорожке и я слышу голос твой В этом доме, где я был молод и где ты не была со мной.

О как мы спешили прощаясь, как не знали об этом дне... Ты стоишь у открытой двери и боишься войти ко мне

Войди, я не тот, что прежде, мы побудем с тобой вдвоем, Побаюкаем сонную душу, посидим и отдохнем.

Не спешу я теперь, не жалею, и ты скоро будешь знать Все, что я скажу тебе словами и все, чего нельзя сказать.

И тогда погляди, подумай, улыбнись и возьми его, Этот мир, где я хотел так много и где мне не нужно ничего.

1923

Я не любил тебя, я взял тебя и предал И мне слова твои как ветер или тьма Мне нужен только смысл безумия и бреда: Последний долгий взглял, что ты мне дашь сама.

Последний долгий взгляд, испуганный и слабый, Чтоб и его причесть к разлуке и концу. Но даже мертвого ты кажется могла бы Дрожащею рукой погладить по лицу.

1923

*

Перед смертью, закрыв глаза Услышишь, погоди, Не ту, что кормила, не ту С болтливым поцелуем на устах, Но в муке, в поту родов Матери стон.

Тогда ворвется ветр, — И вдруг ты полон Огромным сердцем, Миру тесно в тебе, Время стучит в висках И жизнь страшным Рыданьем зовет, кровью В уша свистит: Живи!

1923

подражание гейне

Посвящается светлой памяти Марины Арсеньевны Кржевской, своей рукой записавшей этот не к ней относившийся экспромт.

На этой большой подушке Мы спали с тобой вдвоем, Ты помнишь, мы крепко спали, А думали, не заснем.

Мы спали обнявшись с тобою И видели длинный сон О том, что мы где-то в дороге И горы со всех сторон.

Потом спустились в долину И там протекал ручей, Был домик и в домике много Смешных и ненужных вещей:

Часы, что часов не считают, Совсем не умеют считать, Игрушки, которыми можно Весь день напролет играть,

А также большая подушка, Чтобы нам, уткнувшись в нее, Снилось до утра счастье Вместе, твое и мое.

Париж, 1925

после всего

Как тот, кому нет надежды и кому пора умирать... Лихорадка жжет ему кости и жажда мешает спать;

Он не ищет Царства и Славы, он не ждет ни кары ни мзды, Только пощады сердцу, да горлу глоток воды.

К утру он будет с Тобою, но теперь ему не до того Дай сперва глоток ему выпить, а потом бери его.

Как Иона во чреве китовом, как Даниил во рву... Дай сказать мне на смертном ложе: Господи, я живу.

Париж, 1925

٠.

Когда опомнится повеса и глупец, Когда исправится шутник неисправимый И тот, кто видел сон проснется наконец Нелюблящий и нелюбимый.

От нас останется оставшимся тогда Вот этих тесных букв рассчитанная повесть, Обряд без трепета, уменье без стыда И слов сговорчивая совесть.

1925

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Не без колебания решился я опубликовать этот сборник. Стоило ли это делать, не до конца уверен и сейчас. Разве что так, «на всякий случай». Не вовсе ведь исключена возможность, что некоторые из моих стихотворений придутся кому-нибудь по вкусу или по душе; на что-то наведут, от чего-то отведут — пусть и от них самих — другого стихотворца. Писал я их, впрочем, не о литературе помышляя, а стремясь высказать ими возможно точнее то, чего без них высказать бы я не мог. Вот и пришел к мысли, вероятно суеверной: чего же им, бедным, пропадать? Перестукал, свернул в трубочку, сунул в бутылку, бросил в море. С отплывающего безвозвратно корабля.

Странный был я стихотворец! Сорок лет стихов не писал, с тридцати до семидесяти; потом вновь принялся. Прыть, однако, проявил не Бог весть какую. Годами попрежнему молчал. За двадцать почти лет набрал двадцать пять «пиес». Они образуют первую часть сборника. За них отвечаю; чувствую их еще своими. Иначе обстоит дело с другими двадцатью пятью, выбранными мною из не на много большего их числа, чтобы составить вторую его часть.

Слишком много времени прошло. Вчитываясь в них, я нашел, что совсем безпристрастно судить о них не в силах. Литературно, стихотворно, пожалуй и музыкально, они по-моему грамотны; а поэзия, не знаю, в них ли она, или только в моей памяти о том, как мне думалось, что она рождалась по мере того, как они складывались во мне.

Стихи эти — не самые мои первые. Те, студенческих лет, остались в России, должно быть пропали, да и будь они у меня, я бы их печатать не стал. Публикую и эти, позрелее, не триумфально, скорее поминально. Они мне кажутся почти вовсе не моими, но молодого себя я вполне в них узнаю. Потому и жаль мне их обрекать на несуществованье: а вдруг им поможет чье-нибудь со-чувствие меня, хоть ненадолго, пережить.

Едва ли не такова и главная причина опубликования всех прочих. Никакому пишущему человеку не хочется, чтобы все, им написанное, тотчас было забыто после его смерти. Полагаю, что в написанном мною найдется немало более достойного посмертаого прочтения, чем мои стихи. Но тому, кто эти писания мои вспомнит, вовсе ведь они не повелят вспомнить обо мне. Стихи — другое дело. Их от личности отделить трудней. Отсюда и заглавие моего сборника.

B. B.

Париж, 27 мая 1979.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. К стихотворению *Беглецы*, стр. 21. На берег моря, к нам в Даймус, приехала погостить племянница моей жены, которую я прозвал «мосо» так кличут носильщиков в Испании, за то, что она таскала мои чемоданы. Она одевалась на-половину помужски. Стишки относятся к ее от езду.
- 2. К стихотворению Assumptio corporis. Так, в богословии западной церкви, определяется второй момент Успения Божией Матери, не учитываемый у нас и отсутствующий в нашем церковном искус. стве: приятие Ее Спасителем, или всей св. Троицей, на небеси. Рубенс написал главный, заалтарный, образ Антверпенского собора по заказу своего родного города. Это стихотворение писалось, с большими перерывами, несколько лет. Стих мой, в нем, до едва ли не последнего предела (еще ближе, чем в Открытке с Аппиевой дороги приближается к прозе, оставаясь все же я это утверждаю (при должном чтении) стихом.
- 3. К стихотворению *Похвала фотографии* стр. 26. Оно имеет в виду снимок, изображющий Полонского в гостях у Фета, 80-х годов; воспроизведенный напр. против стр. 320, в Полном Собрании Стихотворений Фета, Библиотека Поэта, 1959. А. К. Толстой высмеял *Царскосельскую деву* Пушкина двустишием:

Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский, В урне той дно просверлив, воду провел чрез не.

- 4. К стихотворению *Умирать надо в бедности*, стр. 29. Чаепитие у о. Сергия Булгакова и его сбывшееся предсказание соответствуют действительности. Ницше окончательно обезумел, бросившись поднимать упавшую извощичью лошадь в Турине, на площади Кариньян.
- 5. К стихотворению Костер Геракла стр. 30. Данные греческой мифологии здесь соблюдены, но подвергнуты своевольной интерпретации. Гекзаметр мой, здесь, как и в других моих стихотворениях, написанных им, или им в соединении с пентаметром, очень вольный, каким, на мой взгляд, по-русски он и должен быть. Восьмистопный ямб в русской метрике не существует. Кажется он не распался у меня; но я этот фокус не рекомендую повторять. Стихотворение Тогда и всегда написано анапестом, скорей, чем дактилем, и укороченность четных строчек соблюдает слабо.

- 6. К стихам 21-го года. Я их выделил в особый отдел. Эти полгода много значили в моей жизни, а поэтически были отмечены вершиной моего восхищения Клоделем. Попытка моя дать подобие его стихам (versets), рифмованным, как и не рифмованным, по-русски привела к чему-то весьма мало похожему на него. Но я думал, что другой стихотворец мог бы моим опытом воспользоваться. Не совсем перестал это думать и теперь. Напечатаны были из этих «длиннострочных» моих стихотворений только Ода, в альманахе «Завтра», Берлин, 1923, и два первых «неприятных» стихотворения в «Русском Современнике», 2, 1924, где третье стихотворение и прилагательное из их общего заглавия были отвергнуты К. И. Чуковским.
- 7. К стихотворению *Начало дифирамба*, стр. 57. Неокончено. Предполагался довольно длинный обмен речей между хором и хоревтом, как в древнейшем греческом дифирамбе, никого не восхвалявшем, кроме бога-Диониса, но из которого выросла аттическая трагелия.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЕРВАЯ ЧАСТЬ	Стр.
Берег Искии	7
K***	8
Открытка с Аппиевой дороги	9
Стихи о стихах	10
Зачем рассудок беспокоя	11
Riva degli Schiavoni	12
Баллада о Венеции	13
Нет!	17
Там же еще раз	18
Говорит Венеция	19
Губбио	20
Две свечи	21
Никого на корме	22
Беглецы	23
М. Б	24
Assumptio corporis	25
Похвала фотографии	. 28
Двое вдвоем	. 29
Проснувшись ночью	30
Умирать надо в бедности	31
Костер Геракла	. 32
Тогда и всегда	35
Всевышнему	. 37
С. Н. «где б души ни витали»	. 38
Полойля к окну	39

ВТОРАЯ ЧАСТЬ	стр.
Еще пленительно готово	43
Териоки, 1914	44
Сонет	45
Багряным вечером	45
В седые дни мои	46
Пусть этот нищий день	46
Чего мне ждать еще	47
Прошедшее свое	47
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ	
Зачем ты пришел и кто ты	51
Смотри, вот речка и козы	52
Похороны Блока	53
Псалом	54
Наводнение	55
Ода	57
Начало дифирамба	59
Песня	60
Другая песня	61
Стихи на праздник ,	62
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ	
Я сказал. Без любви, без гнева	65
Ведь мы расставались надолго	66
Я не любил тебя	67
Перед смертью, закрыв глаза	67
Подражание Гейне	68
После всего	69
Когда опомнится	70
Послесловие	71
Примечания	73

Того	же	автора:	

Поэзия Ходасевича — Париж 1928

Умирание искусства — Париж 1937

Вечерний день — Отклики и очерки на западные темы Изд-во имени Чехова. Нью-Йорк 1952

La Russie absente et présente — Gallimard, Paris 1949

Задачи России — Изд-во имени Чехова. Нью-Йорк 1954

Les abeilles d'Aristée. Essai sur le destin actuel des lettres et des arts — Gallimard, Paris 1954

Mosaici paleocristiani e byzantini - Electa Editrice 1954

Mosaici veneziani — Electa Editrice 1956

Les icônes byzantines et russes — Deuxième édition. Electa Editrice, Milan 1962

Arti e lettere in Europa — Unita nella diversità Ferro Milan 1965

Безымянная страна — Книга о нынешней России и о России Ymca-Press, Париж 1968

После «Двенадцати» Приношение кресту на могиле Александра Блока — Ymca-Press, Париж 1973

О поэтах и поэзии — Ymca-Press, Париж 1973

Зимнее Солнце. Из ранних воспоминаний — Изд-во V. Kamkin. Вашигтон 1976

Gestalt und Sprache des Kunstwerks. Studien zu einer nichtæsthetische Kunsttheorie — Mäander Verlag, Mittenwald 1979

EUROPRINT - Choisy-le-Roi